

— Владимир Николаевич, поэзия и участие в диссидентском движении — насколько органично они сочетались в вашей жизни?

— После хрущевской “оттепели” мы слегка оттаяли, но арест Синявского и Даниэля показал, что возвращаются времена, когда людей сажают за слово. Поэтому не протестовать я не мог. Ведь жизнь и стихи связаны если и не прямо, то тесно, и мне казалось, что покорность и равнодушие неминуемо на них скажутся. После ряда протестов меня перестали публиковать на родине, а дальше, как говорится, уже пошло-поехало... Я начал печататься на Западе, затем меня исключили из Союза писателей, пытались заставить эмигрировать. Словом, как литератор я зажил угловой жизнью. Но при всем при том я не могу считать себя настоящим диссидентом: моя роль в этом движении была вполне скромной.

— Ваше участие в движении выражалось скорее в моральной поддержке?

— Пожалуй, так. Я лишь хотел выразить свое неприятие власти. Я не политик. Впрочем, по моим впечатлениям, далеко не все даже выдающиеся правозащитники (а я был знаком с многими из них) были политиками. Отсюда, как мне кажется, и их невниманье к экономической стороне жизни. Мы верили, что человек по своей природе добр и хорош, что его лишь испортила тоталитарная система и, если ему дать соответствующие права и возможности, все сразу наладится. Вера эта тем более удивительна, что мы видели жизнь да и Достоевского с Фолкнером читали. Видимо, надо было больше доверять если не своему опыту, то хотя бы литературе.

— Сейчас часто говорят о падении интереса к литературе. А может быть, все не так мрачно? Просто традиционное для нас гипертрофированное восприятие роли литературы в общественном сознании становится нормальным?

— Возможно, причина нынешнего равнодушия к литературе в напряженной политической жизни, которая заставляет с утра пораньше следить, “что день грядущий нам готовит” — чеченскую бойню, “черный вторник” или еще какой-нибудь сюрприз в этом роде. А возможно, мы просто идем путем вся земли — сейчас люди везде мало читают.

— Как вы для себя формулируете сущность поэзии?

— Кратко сформулировать сущность поэзии не возьмусь: для этого она слишком необъятна. И все-таки, постоянно изменяясь, поэзия непременно пытается соединить на первый взгляд несоединимое: нравственный закон внутри тебя и звездное небо над твоей головой...

— Вы помните, как поэзия вошла в вашу жизнь?

— По-видимому, я, как чукча из анекдота, начал не как читатель, а как писатель, то есть сначала сочинял стихи, а читать научился потом. Первыми, кого я прочел уже самостоятельно, лет в восемь, были Асеев, Светлов и Тихонов. Возможно, меня подводит память, но мне кажется, что я и тогда понимал, что у каждого хорошо, а что не очень. Из классиков, кроме Пушкина и Лермонтова, больше всех любил Державина. А вообще люблю и сегодня почти всех поэтов, которых любил смолodu. Вот только Некрасова, к которому после Есенина надолго охладел, начинаю вновь перечитывать. А к Державину с его высоким косноязычием и колокольным гулом стиха никогда не охладевал.

— Итак, Державин для вас живой?

— Безусловно. Он живет во многих поэтах, например, в Тютчеве, Ходасевиче,

Ахматовой, Маяковском, Слуцком, даже в Бродском... Без державинской “Фелицы”, думаю, и “Евгений Онегин” был бы иным, а Баратынского и Лермонтова, возможно, и вовсе не было бы... Вообще же больше всего в жизни я благодарен русской поэзии, которую могу и сегодня читать на память километрами. В других странах да и у нас кое-кто пытается совместить поэзию с живописью или с музыкой. Но я традиционалист и стихи воспринимаю на слух, ценю в поэзии прежде всего звук, интонацию, силу чувства. Разумеется, я оце-

подписывал ее своей фамилией, кто находил врача, кто, когда меня донимала милиция, давал приют на своей даче и так далее... И этих людей, и ту атмосферу дружбы я никогда не забуду. Но, как это ни странно, после перестройки все это постепенно начало уходить. Со временем у нас появились и политические разногласия. Естественно, никто из моих знакомых за Зюганова или Жириновского не голосовал, но уже спор, кого выбирать — Явлинского или Ельцина, разводил старых друзей. Ясно одно: мы оказались не готовы к

три, они ради экономии взяли меня третьим. Пастернак открыл нам дверь и, увидев у меня в руках большую тетрадь, испуганно спросил: “Это не стихи?!” “Нет-нет”, — ответил я.

Но хотя чтение не состоялось, пробыли мы у него не меньше трех часов. Говорил он один и только о романе, который тогда писал. Его монолог был беспорядочным, даже сумбурным, петлял, шел кругами, но позже его рассказ мне показался необычайно стройным, словно в нем была невидимая, но упругая композиция, кото-

мин этот возник не случайно: у этих несхожих людей было нечто общее — неприязнь ко лжи, лицемерию, высокопарности; сталинщина и все с ней связанное претили им вкусом, цветом, запахом и образом поведения. Культ личности они заменили культом дружбы; они старались не участвовать в государственной подлости, пытались хоть как-то ей сопротивляться. Разумеется, далеко не все и не всегда поступали согласно этим принципам, но, даже изменяя им, стыдились своих проступков. Они дорожили собственной репутацией. Отступление любого из них от идеалов юности переживалось всеми. И мне кажется, что Виктор Некрасов стал одной из знаковых фигур шестидесятых. Очень многие люди испытывали к нему личную благодарность за то, что он единственный из писателей, на которых в 1963 году накинута Хрущев, выстоял, не покаялся. А ведь он был лауреатом Сталинской премии, ему было что терять, и тем не менее он рискнул своим положением, потому что не мог поступиться чувством собственного достоинства. А это качество на протяжении всей нашей истории ценилось меньше всего, и, на мой взгляд, в этом корень наших бед. Неуважение к личности в государственном масштабе ведет к тому, что человек и сам себя не уважает, а значит, и работает спустя рукава, и ворует и т.д.

— Складывается ощущение, что ваши последние стихи очень грустны.

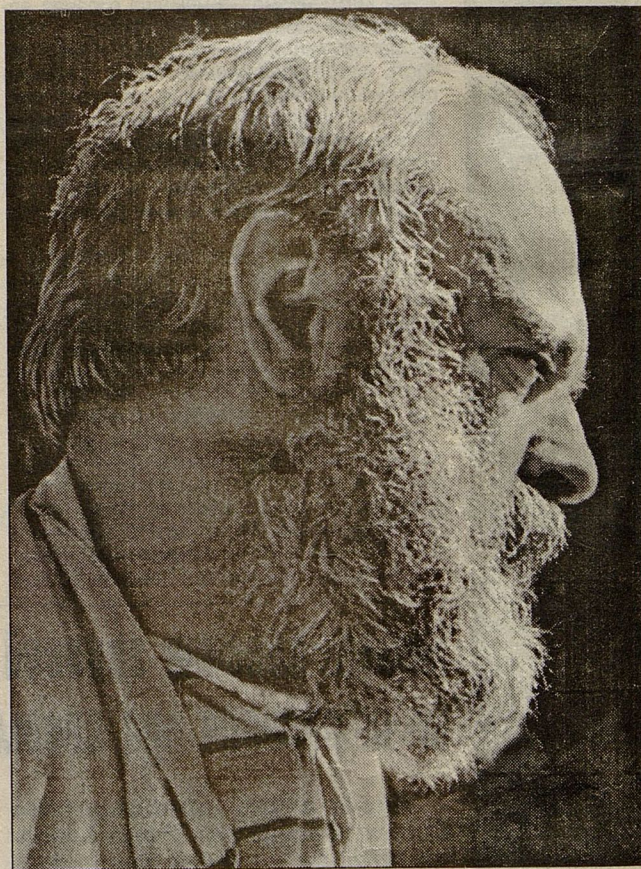
— Это так. Правда, ранние были, на мой взгляд, еще более грустными. Я это ощущаю как свой недостаток. Видимо, я не склонен радоваться — больше вглядываюсь в мрачные стороны жизни, предчувствую грядущие беды. Сейчас многих вдохновляет отсутствие очередей, изобилие товаров. Отсутствие очередей, естественно, радует и меня, а вот обилие бедных и голодных людей на фоне этого изобилия — пугает... Возможно, я предъявляю к нашей жизни чрезмерные претензии — нельзя забывать, от чего мы ушли!.. Но, когда читаю, что целые области живут без зарплат и пенсии, я, хотя живу в Москве и пока пенсию получаю аккуратно, а иногда и что-то зарабатываю литературным трудом, не могу забыть о людях, которые, так же как я, лишились сбережений, а ведь многие из них еще старше меня и уже работать не могут. И все это происходит на фоне чудовищной коррупции. В стране произошло страшное расслоение, а это всегда опасно, для России — особенно: в ней никогда не жаловали богатых, и из истории известно, чем это грозит... Словом, к свободе мы оказались не готовы...

Я понимаю, что нормальное общество характеризует компромисс между идеалами и интересами, но как это осуществить, похоже, не знает никто. Очень многие люди, которые считались ревнителями демократии и ее идеалов, прочно встали на стражу собственных интересов. Сейчас часто повторяют: “За державу обидно”. Мне же больше обидно за человека. Всю нашу более чем тысячелетнюю историю мы обижались за державу, воевали за державу, собирались с силами, объединялись, возрождались, когда надо было отстоять державу... Но когда обижают отдельного человека, нас — как общество — это не возмущает, мы не объединяемся для его защиты. А меня больше всего волнует судьба личности, личности, которую наша история просмотрела. И литературу, а поэзию в частности, я так люблю еще и потому, что она занимается отдельной личностью.

Литер. газета, — 1997, — 19 марта, — с. 14

“И тогда я зажил угловой жизнью...”

Владимир КОРНИЛОВ
в беседе
с Ольгой и Александром
Николаевыми



демократии, хотя и ждали ее всю жизнь, мы не сумели выработать в себе терпимость.

— Что более всего необходимо начинающему поэту?

— Прежде всего важно, чтобы ему было что сказать, причем сказать именно свое, на других непохожее. Я не отри-

цаю необходимость работы над ритмом и рифмой, но все-таки не одна она определяет будущего поэта. Поэт только тогда поэт, когда он не может не писать. Помните, в “Василии Теркине” солдат, увидев пляску, с криком “Дайте мне, а то помру!” вбегает в круг. То же и с молодым поэтом. Его должно затягивать в стих, как в водоворот. Стихи должны быть для него не развлечением и даже не размышлением, а единственным способом существования.

— Немало ваших стихотворений посвящено поэтам прошлого и современникам. Есть у вас и стихи о похоронах Пастернака. Когда и как вы с ним познакомились?

— Двое моих однокурсников мечтали проникнуть к Пастернаку, почитать ему свои стихи и для этого даже разработали хитроумный план: зимой 1947 года, в день стипендии, они купили у Алексея Крученых пастернаковские фотографии и договорились с Пастернаком, что он их им надпишет. Поскольку Крученых брал за два снимка столько же денег, сколько за

ниваю и глубину, и тонкость мысли, но это уже потом. И все равно безынтонационные стихи, стихи бестемпераментные меня не трогают. Накал чувств и страсть — вот что мне по-прежнему дорого в поэзии. Я не понимаю поэтов, так сказать, живущих в башне из слоновой кости.

— Но вы вроде бы в ней не жили.

— Нет! Но довольно долгая угловая жизнь, жизнь отщепенца вряд ли лучше пресловутой башни. Ты одновременно и не защищен от жизни, и оторван от нее. Причем те пятнадцать-шестнадцать лет, когда я не печатался на родине, были временем еще достаточно стойкого интереса к поэзии. Так что в плане общения с читателем я много потерял.

— Но вас же окружали близкие вам люди?

— Да, конечно. Мы обсуждали новости, обменивались самиздатом и тамиздатом, помогали друг другу. Не могу даже перечислить всех, кто поддерживал меня в те годы самыми разными способами: кто доставал для меня литературную работу и

рая наподобие пружины все расставляла по своим местам.

“Доктора Живаго” я прочел гораздо позже, весной 1958 года, и надо сказать, роман меня разочаровал. Отношения с этой вещью у меня крайне странные: ни один из ее персонажей мне не по душе, разговоры мне кажутся неестественными, порой даже натужными, но при всем при том что-то в романе заставляет меня читать его снова и снова. Например, такое: “Шли и шли и пели “Вечную память”, и, когда останавливались, казалось, что ее по-залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновение ветра”. Ведь по сути это замечательные стихи! Удивление перед стихом, как перед миром (потому что для Пастернака стих неотделим от мира!), переполняет всю его полувекую работу.

— Вы близко знали одного из кумиров шестидесятых — Виктора Платоновича Некрасова. Каким он остался в вашей памяти?

— Сейчас оголтело ругают “шестидесятников”, и у меня это вызывает протест, хотя обида моя не носит личного характера. Я себя к “шестидесятникам” не причисляю хотя бы потому, что в 1960 году мне уже было тридцать два года. И все-таки, пусть я никогда не понимал, почему самых разных людей — и благополучных, и неблагополучных, и приспособившихся к режиму, и спившихся оттого, что не хотели к нему приспособиться, всех сваливают в одну кучу, понятие “шестидесятники” — для меня не пустой звук. Очевидно, тер-